

СОДЕРЖАНИЕ

Мемуарные очерки

Знакомство с Наполеоном на аванпостах под Бауценом 21 мая (н.с.) 1813 года	6
Встреча с Карамзиным	9
К портрету Николая Ивановича Греча	18
Поездка в Грузино в 1824 году	27
Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове	38
Как люди дружатся	55
Воспоминания об Иване Андреевиче Крылове и беглый взгляд на характеристику его сочинений	60
[Воспоминания о писателях]	76
[Воспоминания о книгопродавцах и издателях]	103
Воспоминания о Василье Андреевиче Каратыгине	111
Краткий биографический очерк генерал-лейтенанта Александра Ивановича Михайловского-Данилевского	117

Приложения

Письма Ф.В. Булгарина цензорам «Воспоминаний»	128
Полемика Н.А. Полевого и Ф.В. Булгарина по поводу булгаринских «Воспоминаний»	144
Критика М.А. Корфом воспоминаний Ф.В. Булгарина о М.М. Сперанском и ответ Булгарина	198
Полемика Я.К. Грота с Ф.В. Булгариным по поводу булгаринских «Воспоминаний»	224
Комментарии	241
Аннотированный указатель имен	491

ВСТРЕЧА С КАРАМЗИНЫМ

(Из литературных воспоминаний)

...de mortuis nil nisi vere...¹

В 1819 году, в зимние вечера собирались к одному содержателю пансиона в Петербурге (французскому дворянину)² любители словесности, из находившихся в то время в столице французских путешественников, чиновников и нескольких дам и мужчин из высшего класса русского общества. В сем пансионе воспитывались дети знатных и богатых людей, и потому хозяин имел обширный круг знакомства. Время на сих литературных вечерах проводили чрезвычайно весело. Читали переводы с русского языка и небольшие оригинальные статьи; разговаривали, шутили, и наконец за ужином, по древнему афинскому и нынешнему французскому обычаю, пели куплеты, всегда остроумные, весьма часто забавные. Присутствие дам, прекрасных и умных, одушевляло беседу.

Не имея никаких притязаний на звание французского автора, я, по просьбе хозяина и некоторых приятелей, должен был писать по-французски небольшие статьи, которые исправлял (в грамматическом отношении) г-н Сен-Мор*³ и сам читал их в нашей беседе. Прекрасному его чтению я обязан тем, что некоторые из моих статей имели успех. Впрочем, общество наше было весьма невзыскательное. Немножко ума, немножко веселости, занимательное происшествие — и слушатели были довольны.

Однажды хозяин объявил нам, что в будущее заседание один известный русский ттец⁴ будет декламировать сцены из Мольеровой комедии и что несколько отличных русских литераторов посетят нашу беседу. Я тогда только что возвратился из долговременного странствия по Европе и не знал в лицо ни одного русского литератора. С нетерпением ожидал я дня собрания и первый туда явился. По мере появления новых лиц в зале я спрашивал об именах и, к удивлению моему, слышал одни звонкие имена в адрес-календаре, а не встретил ни одного известного в литературе. В досаде, я уселся в углу комнаты и погрузился в размышления.

Итак, хозяин сам обманулся и нас обманул, думал я, обещая украсить круг наш присутствием литераторов. Но он знаком в свете, а не на

* Издатель антологии на французском языке.

Парнасе. В свете достоинство литератора определяется другим образом, нежели в ученом кабинете. Сочинители нескольких незначущих печатных страничек или стихов (при помощи приятелей), смелые и многоязычные говоруны, дерзкие судьи дарований, которых все достоинство составляет память, испещренная беспорядочными узорами различных словесностей и выдержками из остроумных иностранных журналов — вот люди, которые между литераторами называются *опрокинутой библиотекой* (Bibliothèque renversée), а в свете слынут умниками, созрелыми судьями литературы. Так называемый большой свет можно уподобить крепости. Комендант в ней — *приличие*. Этот комендант не впускает в ограду никого, кто не принадлежит к гарнизону, но сдает на капитуляцию целую крепость первому смельчаку, который устремится на приступ, с толпою своих робких поклонников. Успехи в большом свете в отношении к уму весьма не трудны, ибо они зависят от положения человека в обществе. Родство, связи, покровительство доставляют рукоплескателей, и обыкновенно случается, что эти рукоплескания света превращаются в пронзительный свист публики образованной.

Между тем как я размышлял таким образом, началось чтение Мольеровой пьесы. Вдруг дверь в зале потихоньку отворяется, и входит человек высокого роста, немолодых лет и прекрасной наружности. Он так тихо вошел, что нимало не расстроил чтения, и, пробираясь за рядом кресел, присел в самом конце полукруга. Орденовая звезда блестела на темном фраке и еще более возвышала его скромность. Другой вошел бы с шумом и шарканьем, чтоб обратить на себя внимание и получить почетное место. Незнакомец никого не обеспокоил. Я смотрел на него с любопытством и участием. Черты его лица казались мне знакомыми, но я не мог вспомнить, где и когда видел его. Лицо его было продолговатое; чело высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и уста имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием.

Глаза небольшие, несколько сжатые, но прекрасного разреза, блестели умом и живостью. Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. Физиономия его выражала явственно душевную простоту и глубокую проницательность ума. Отличительными чертами его лица были две большие морщины при окончании щек, по обеим сторонам рта. Я, по невольному влечению, искал его взгляда, который, казалось, говорил душе что-то сладостное, утешительное.

На его одушевленной физиономии живо отражались все впечатления, производимые чтением. Ни одно острое слово, ни одна счастливая мысль, ни одна удачная черта характера не ускользнули от его внимания.

Неудовольствие изображалось на лице, как облако в чистой воде, когда чтец дошел до некоторых плоскостей, встречающихся в комедиях Мольера, жертвовавшего иногда вкусу своего современного партера. Я не сводил глаз с незнакомца и размерял по его ощущениям мои собственные. Пришла очередь до моей статьи. Она была написана мною вследствие моего спора с французами о немецкой трагедии и заключала в себе обзорение и краткий разбор Шиллеровых драматических творений⁵. Прежде я хладнокровно представлял мои безделки на суд снисходительных любителей словесности, но на этот раз сердце мое забилося сильнее: я чувствовал, что в незнакомце имею знающего и опытного судью. Во время чтения г. Сен-Мора я с боязнию поглядывал на незнакомца и старался вычитать мой приговор на его лице. Счастье мне благоприятствовало: я с радостью приметил, что незнакомец был доволен.

Кончилось чтение, — слушатели встали с мест своих, и начался разговор. С нетерпением подбежал я к хозяину, чтобы спросить об имени занимательного незнакомца. «*Это Карамзин!*» — отвечал хозяин и поспешил к нему поблагодарить за посещение.

«Карамзин!» — воскликнул я так громко, что он обернулся и посмотрел на меня. Вся нервическая моя система потряслась при сем магическом имени, и все усыпленные воспоминания моей юности вспорхнули в одно время. Есть ли один грамотный человек в России, в хижине и в чертогах, от берегов Камчатки до Вислы, который бы не знал имени Карамзина? Есть ли один образованный иностранец, который бы не соединял имени Карамзина с воспоминанием о просвещении России? Я видал гравированный его портрет и теперь поверял давно знакомые черты писателя⁶, которого каждая печатная строка прочтена мною по нескольку раз. С юности моей я был свидетелем его успехов, его славы. Я член того поколения, в котором он сделал литературный переворот. Он заставил нас читать русские журналы своим «Московским журналом» и «Вестником Европы»; он своими «Аонидами» и «Аглаей» ввел в обычай альманахи; он «Письмами русского путешественника» научил нас описывать легко и приятно наши странствия; он своими *несравненными* повестями привязал светских людей и прекрасный пол к русскому чтению; он сотворил легкую, так сказать, общежительную прозу; он первый возжег светильник грамматической точности и правильности в слоге, представив образцы во всех родах; он познакомил все состояния россиян с отечественною историею, очистив ее от архивной пыли. Так вот Карамзин! Вот исполин русской словесности! Различие в мнениях насчет изложения «Истории» нимало не ослабляло во мне чувства уважения к великому мужу и не затемняло его

великих заслуг и дарований. Я смотрел на него с таким же благоговением, как древние взирали на изображение олицетворенной *Славы* и *Заслуги**⁷.

Г. Сен-Мор знаком был с Карамзиным. Я попросил г-на Сен-Мора представить меня великому писателю, что и было тотчас исполнено.

— Я согласен с вами насчет трагедии, — сказал он мне после первого приветствия. — Классики требуют слишком точного соблюдения трех единств; романтики отвергают все условия искусства. Вы справедливо говорите, что надлежало бы выбрать средину между двумя крайностями. Три единства слишком стесняют круг действия; соединение отдаленных эпох в драме развлекает внимание и ослабляет занимательность целого. Пусть появится другой Расин во Франции — и он сделает переворот в мнениях, ибо людей должно убеждать не теориями изящного, а примерами.

При сих словах Карамзин приятно улыбнулся и примолвил:

— Я говорю не насчет вашей теории: говорить правду все-таки надобно. Следствия приходят после.

Карамзин сделал мне несколько вопросов насчет моего пребывания за границу, но как ни время, ни место не позволяли распространяться в разговорах — то я должен был с горестью отстать от Карамзина и уступить свое место другим. Я просил у него позволения посетить его. Он пожал мне руку и сказал:

— В девять часов вечера я пью чай в кругу моего семейства. Это время моего отдыха. Милости просим: я всегда буду рад вам. Прошу запросто — без предварительных визитов⁹.

Я не преминул воспользоваться этим позволением и чрез несколько дней отправился к Карамзину. Он жил тогда на Фонтанке, близ Аничкова моста, в доме г-жи Муравьевой, в верхнем этаже. Меня впустили в залу без доклада. В первой комнате, за круглым чайным столиком, на котором стоял самовар, помещалось целое семейство Карамзина; сам он сидел в некотором отдалении, в полукруге посетителей.

Карамзин встретил меня в половине комнаты, дружески пожал руку, произнес громко мою фамилию, представляя другим собеседникам, и просил садиться. В его приемах, обращении и во всех движениях соединялось глубокое познание светских приличий с каким-то необыкновенным добродушием и простотою патриархальных времен. Каждое его слово, каждое движение шло прямо от сердца, находясь в обществе незнакомых людей, в первый раз в доме, я не чувствовал ни малейшего смущения и принуждения. Общество составлено было из людей разного звания и происхождения,

* Прошу читателей заглянуть в статью мою «Путь к богатству»⁸.

русских первоклассных чиновников, литераторов и иностранцев; но все сии разнородные части *сплавались* в одно целое умом и душою хозяина. В обращении его не видно было, чтобы он отдавал кому-либо преимущество насчет другого. Добродушная его вежливость разливалась равно на всех. Он говорил со всяким одним тоном и слушал каждого с одинаким вниманием. Люди сближались между собою Карамзиным. Все преимущества нисходили или возвышались на одинакую степень в его присутствии. Он был душою и располагал движениями членов своего общества.

При воспоминании о беседе Карамзина почитаю излишним сказать несколько слов о обществах вообще. Не только у нас, но и во Франции, сем древнем отечестве общежития, жалуются, что *искусство беседовать* (*l'art de la conversation*) упало, и даже тайна оно исчезла. К кому ныне ездят на беседу? Кто составляет общества? Знатные и богатые зовут гостей на обед, на вечер, где пресыщаются, играют в карты, танцуют — но не беседуют. Зовут людей знатных, случайных, их детей и родственников. В сих обществах не требуется ни от хозяина, ни от гостей ума и познаний для поддержания беседы. Напротив того — *молчание* почитается достоинством. Большие обеды похожи на всенародные жертвоприношения, балы на театральные представления: они сухи — и безжизненны. Во Франции и в Англии еще ум и дарования составляют почетное качество человека и отворяют ему вход во все общества. Но политические прения поглощают приятность бесед, и ум *работает*, а не *бавляется* в обществах. У нас, в России, литераторы и ученые приглашаются в общества и занимают места по чинам, по связям, а не по дарованиям. У нас знатные приглашают литератора тогда только, когда надобно посоветоваться с ним в каком-нибудь *письменном* деле, точно так, как призывают медика во время недуга. Захочет ли литератор и ученый с умом, с дарованием, с чувством собственного достоинства добиваться чести занимать уголок за пышным столом, играть в вист в позлащенных комнатах и быть безмолвным свидетелем светских забав? Без сомнения, нет. С другой стороны, людям знатным, должностным, богатым *некогда* заниматься беседами с литераторами о предметах, с которыми первые или расстались, или вообще малознакомы. Знатные и должностные люди, оказывая покровительство литераторам, обходятся с ними, как с подчиненными.

Все сии и другие причины, о которых я умалчиваю, воздвигнули род Китайской стены между так называемым большим светом и литераторами. Литераторы ничего от этого не теряют, напротив того, выигрывают драгоценное время; но знатные люди, издерживающие значительные суммы на балы и праздники и жертвою половины жизни добивающиеся

степеней для приобретения известности, не постигают своих выгод, пренебрегая умом и дарованиями. Много громких имен забудется навсегда в другом поколении, вместе с адрес-календарями на лето от Рождества Христова такое-то; но имена Шувалова, Строганова, Румянцева перейдут к потомству с уважением, единственно оттого, что они любили собирать в своем доме и покровительствовали ученых, литераторов и артистов. Без Горация мы не знали бы о существовании Мецената.

В то время, когда я познакомился с Карамзиным, весьма в немногих домах в Петербурге принимали литераторов и вообще всех гостей по их внутреннему достоинству. Я говорю теперь о Карамзине*. Сей великий писатель был любезнейшим человеком в обществе. Он знал в совершенстве *искусство беседовать*, которое вовсе различно с *искусством рассказывать*. Хороший рассказчик нравится нам иногда, когда мы расположены *слушать*; но человек, умеющий поддерживать разговор и сообщать ему занимательность, нравится всегда, ибо он умеет быть и слушателем и рассказчиком.

Карамзин охотно говорил по-русски, и говорил прекрасно. Иностранные языки он употреблял только с иностранцами. В его речах не было изысканных выражений и ссылок на авторов, столь утомительных в разговоре; но речения его сами по себе имели полноту и круглость; он никогда не изъяснялся отрывисто. Соблюдая вообще хладнокровие в разговорах, он воспламенялся только, когда речь заходила о России, об истории и об его старинных друзьях. Тогда физиономия его одушевлялась особенною выразительностью и взоры искрели. Он никогда из вежливости не соглашался с чужим мнением, вопреки собственному убеждению, но не спорил, а умел своему противоречию сообщать такую нежность и снисходительность, что всегда побеждал своего противника, который, если не переменил мнения, то по крайней мере должен был замолчать. Карамзин никогда не хотел торжествовать в разговоре и если примечал, что противник его уклонялся от противоречий, то нежно, ласково и постепенно, не перекакивая быстро к другому предмету, переменил разговор, выводя всегда своих собеседников на самые блестящие места разговорного поприща.

В этот вечер разговор начался о сравнительном состоянии простого народа в России и во Франции. Я сказал: Францию вообще можно сравнить с галантерейною вещью, лучшей филаграммовой работы, с финифтью, а Россию можно уподобить слитку золота. На вид Франция имеет преимущество, на вес — Россия.

Карамзин улыбнулся.

* Как не вспомнить при сем случае о доме А.Н. Оле[ни]на!

— Правда, — сказал он, — что Россия тяжела на политических весах Европы и что массивное ее состояние надолго предохранит ее от ломки и измятия. Но, извините, — промолвил он, — в сравнении своем вы позабыли сказать, какой формы слиток?

— Каждая форма приятна для глаз, — отвечал я, — если в ней соблюдена гармония.

— Если так, согласен, — сказал Карамзин.

Один из собеседников распространился в похвалах веселости и уму французского народа.

Карамзин сказал:

— Вы правы, но в русском народе веселость и ум — также врожденные качества. Немудрено веселиться под светлым небом Франции, под тенью каштанов, среди виноградников, поблизости больших городов; но у нас, среди трескучих морозов, в дымных избах или в тяжком труде краткого лета, крестьянин всегда весел, всегда поет или шутит. У нас без школ крестьяне выучиваются самоучкою грамоте, и разряд наших сельских поэтов и романистов едва ли не многочисленнее класса привилегированных литераторов. Много ли можно насчитать тех счастливых, чьих сочинения сохраняются столь долго, как русские песни и сказки? Общее правило: счастье состоит в том, чтобы довольствоваться малым, а нет человека в мире, который имел бы менее нужд, как русский крестьянин, и который бы так охотно и так весело трудился.

Разговор обратился на русские песни и сказки, и Карамзин, объясняя красоты некоторых из песен и занимательность сказок, примолвил:

— Я давно уже имел намерение собрать и издать лучшие русские песни, если возможно расположив хронологическим порядком, и присоединить к ним исторические и эстетические замечания. Другие занятия отвлекли меня от сего предприятия, но я не отказался от него. Я не доволен всеми нашими собраниями, в которых нет ни выбора, ни порядка!¹⁰

Само по себе разумеется, что все мы искренно пожелали, чтобы Карамзин исполнил свое предприятие.

Если б какой-нибудь *отличный* литератор исполнил сию мысль великого писателя, он бы оказал большую услугу отечественной словесности. Можно было бы сделать также собрание русских простонародных сказок, уже напечатанных и остающихся в изустном предании, очистив оные от некоторых грубых местностей, но соблюдая в точности слог и рассказ. Это были бы памятники народные. Но, повторяю, для сего предприятия надобно не литературных спекуляторов, а *отличных* литераторов, совершенно знающих Россию.

Первое мое посещение продолжалось *два часа*. Я не мог решиться оставить беседу. Мне так было хорошо и весело. Ум и сердце беспрестанно имели новые, легкие, приятные занятия. Я хотел, по модному обычаю, выйти из комнаты, не простясь с хозяином, но Карамзин не допустил меня до этого. Он встал с своего места, подошел ко мне, пожал руку (по-английски) и пригласил посещать его. Я видел почти всех знаменитых ученых и литераторов на твердой земле Европы, во время моего странствия, но признаюсь, что весьма немногие из них произвели во мне такое впечатление при первой встрече, как Карамзин, и это оттого, что весьма немногие люди имеют такое добродушие в обращении, такую простоту в приемах, какие имел Карамзин, что он при обширных сведениях знал *искусство беседовать*, и наконец, что в каждом его слове видна была *душа* добрая, благородная. Вот магнит сердца!

Несколько дней спустя после первого моего посещения я встретил Карамзина в одной из отдаленных улиц, пешком, поутру, в 8 часов. Погода была самая несносная: мокрый снег падал комками и ударял в лицо. Оттепель испортила зимний путь. Один только процесс или другая какая беда могли выгнать человека из дому в эту пору. Я думал, что Карамзин меня не узнает, ибо он два раза только видел меня, и то вечером. Но он узнал меня. Я изъявил ему мое удивление, что встречаю его в такое время.

— Я имею обыкновение, — сказал Карамзин, — прогуливаться пешком поутру до девяти часов. В эту пору я возвращаюсь домой, к завтраку. Если я здоров, то дурная погода не мешает мне; напротив того, после такой прогулки лучше чувствуешь приятность теплого кабинета.

— Но должно сознаться, — возразил я, — что вы выбираете не лучшие улицы в городе для своей прогулки.

— Необыкновенный случай завел меня сюда, — отвечал Карамзин, — чтобы не показаться вам слишком скрытным, я должен сказать, что отыскиваю одного бедного человека, который часто останавливает меня на улице, называет себя чиновником и просит подаянья именем голодных детей. Я взял его адрес и хочу посмотреть, что могу для него сделать.

Я взялся сопутствовать Карамзину. Мы отыскивали квартиру бедного человека, но не застали его дома. Семейство его в самом деле было в жалком положении. Карамзин дал денег старухе и расспросил ее о некоторых обстоятельствах жизни отца семейства. Выходя из ворот, мы встретили его, но в таком виде, который тотчас объяснил нам загадку его бедности. Карамзин не хотел обременять его упреками: он покачал только головою и прошел мимо.

— Досадно, — сказал Карамзин, улыбаясь, — что мои деньги не попали туда, куда я назначал их. Но я сам виноват; мне надлежало бы прежде осведомиться об его положении. Теперь буду умнее и не дам денег ему в руки, а в дом.

Благородный человек! Вот как он услаждал свои прогулки перед утреннею работою. Мудрено ли после этого, что каждая его строка дышит любовью к человечеству, ко всему доброму, полезному. Бюффон справедливо сказал, и Карамзин повторил: что человек изображается в слоге своем¹¹. Правильность, нежность, простота, занимательность слога Карамзина были отпечатками его характера. Различие в мнениях никогда не могло ослабить уважения к нему в человеке благомыслящем. Отдаленное потомство скажет: Карамзин был великий писатель и — благородный, добрый человек. Одно стоит другого. Но какое счастье, если это соединено в одном лице!